

Излучина небольшой говорливой речушки: один берег — высокий лесистый яр, другой — низкий, болотистый. Выдавались из болотины, вспучилась горбом насыпь железнодорожного полотна. Распёр красавец-мост громоздкие насупленные высоты ажурными плечами, застыл, напрягшись о крепкие каменные быки, ровно сложенные из колотых серых гранитных квадратов. Несутся в далёкой дремотной глуби стремительные прозрачные струи игривого потока, ослепительно взблёскивающего тугой гривастой спиной. Зайчиками мечутся лучики солнца, отражаясь от чешуйчатой гляцевитой поверхности потока, пятнают неувимыми бликами и серый камень, и увесистое клёпаное железо, и песчаную осыпь, изорванную в лоскуты змеиним переплетением корней, теряясь затем в грязном гравийном хаосе железнодорожной насыпи.

Отсюда, сверху, макушки деревьев небольшой рощицы в пойме речушки кажутся всего лишь неровным травянистым выгоном у околицы, выбитым безжалостными коровьими копытами до бугристого кочкарника.

Лесок внизу молодой, сосновый; деревца стройные, гибкие. Иногда из-за крутого далёкого песчаного мыса стремительно налетает лёгкий шелестящий ветерок, приносит запахи луговых трав, лесной земляники, подхватывая по пути из приречной болотины горсть тяжёлого сырого духа, прели и гнили. Всё это он перемешивает, закручивает в острый терпко-тяжёлый букет... сам же легко и незаметно исчезает, оставляя в вечернем тихом тёплом, как парное молоко, воздухе лишь трепещущую дрожь макушек деревьев. Они ещё долго недоуменно и робко подрагивают зелёными гривами, рассыпаясь в настойчивом вкрадчивом недоуменном шепотке.

Четверо мужиков тяжело развалились на штабеле шпал, только что ими сложенных на небольшом отступе полотна. Попискивает где-то внизу, в приречных кустах, иволга. В болотине оглушительно проскрежетал коростель. Мужики встрепенулись, оглянулись, на миг затихли, удивляясь красоте, открывшейся усталому взгляду.

Рабочие сидят на запачканных мазутом ярко-оранжевых куртках. Посреди них газета, на ней кое-какая еда, одна пустая, другая наполовину отпитая бутылка водки. С выпивкой не спешат,

закуска еле жуётся, запивают холодным квасом. Натрудились, натаскались тяжёлых просмоленных брусов. За работой не заметили, как солнышко присело к горизонту. Чуть уж розовело оно над далёкими острыми верхушками елей, которые тёмным частоколом заслонили станцию. Слышно там гуканье маневрового паровоза; оглушительный треск мотоцикла взлетел к темнеющему небосклону и тут же стих, потерявшись в необъятной выси.

Минут двадцать назад мужики прихлопнули последнюю шпалу, покряхтывая, вскарабкались на штабель, поближе к последним лучикам солнца. Работой остались довольны, хоть руки и тело одеревенели до болючей немощи, но на душе спокойно: с недельным уроком справились в три дня, и теперь две упряжки в их заботе, а потом и два выходных. К дому не рвались: завтра с раннего утра закрутятся на подворье, работы у каждого непочатый край.

Водку пили дружно, с продыхом и хаканьем, закусывали вяло. Разгорячённые тела остывали, отходили от работы с неохотой. Выпитое разбежалось по натруженным членам, смывая чугунную тяжесть в мышцах, приглушая боль в надсаженной пояснице и суставах.

— Ящё б бутылочку, — крикнул здоровенный дедина, разливая остатки водки по пластмассовым стаканчикам; там, сям белело их у основания насыпи предостаточно.

Мужики согласно вздохнули, совело уставясь в сторону замрачневшего горизонта. Рельсы прямыми серебристыми нитями сбегали по аккуратной галечной насыпи, казалось, прямо в тяжёлые темнеющие небеса, черкая заодно и далёкий гребень леса, уже слившийся с сумраком небосклона в единое. Чуть померцвали первые звёздочки. Рельсы, если прищурить око, закручивались своими далёкими концами в какую-то сочную жаркую загогулину.

Колька Петрован тряхнул головой, раскрыл пошире глаза: никакая это не загогулина — молодой рогатый месяц повис в далёком просторе. Стальные серебристые нити вдруг закрутились паутиной у самого Петрованова носа. Колька недоуменно качнулся, съёжился, не спеша наклонился и, клонув лысой макушкой, поехал, задирая

рубаху о шпалы, на галечную осьпь; думалось ему, что вмиг пролетел он огромное расстояние и сейчас жалким комочком падёт в разверзшуюся пылающую пасть. Сердце у Петрована защемило страхом чуть не до обморока, до помутнения рас-судка. Испугом передало дыхание. Но вместе с тем ему радостно, просторно от чувства, что сейчас произойдёт необычное, неведомое, обя-зательно невероятно прекрасное— вот только исчезнет Петрован в разъятом, рогатом, жажду-щем огненном зеве... и всё!.. Его настоящее пред-назначение, смысл его никчёмного теперешнего существования... там! И многое другое. Там Колька будет счастлив и радостен, могуч и великодушен. А может, и любим...

Всякий раз, напиваясь вдрызг, Петрован просил, можно было и услышать, склонив голову ухом к бескровным Колькиным губам:

— Пустите меня, отпустите, не держите!..

Колька съехал неловким долговязым телом на мазутную стерню. Раньше туда шмякнулась, вроде сама по себе, голова с редкими седыми слипши-мися за ушами волосами. Острые коленки жалко завалились вбок. Васька-хряк, так кликали за глаза здорового детину, потянулся на край штабеля. — Слабо, друганок,— вздохнул участливо, гор-рестно,— особенно сёдня. Рановато завалился...

Два похожих, один чуть помоложе, поглаже лицом, востроносых мужичка— братья Щёголе-вы— насмешливо переглянулись:

— А те, Васька, какая разница? Раньше начнёшь— раньше кончишь...

Хряк досадливо поморщился: — Ладно ржать, шалопуты. Допивай что осталось— и по домам. Делов ещё... не переделать.

Братья радостно заржали, двигая вислыми усами.

— Тыфу!— ругнулся Васька, опрокидывая водку в зубатый рот.

Швырнул под откос стаканчик, туда же хотел запустить бутылку, потом, строго глянув на братьев, сунул её между шпал. Те кивнули: пусть лежит. Что постарше, осмотрел рощицу, пойму реки.

— Вась, и то правда, разбегаемся, вон как тумани-ще прёт, знобка будет. Побегли, брат!

Хряк крутнулся тяжёлым туловищем в сторону кивка Щёголева-старшего. Посмотрел на Петрова-на, нелепо раскинувшегося по гравию. Захрустел малосольным огурцом, пробурчал:

— Вы тут приберите, а мы с Петрованом до хаты подадимся: с утра на покос.

Щёголевы одновременно мелькнули оттопы-ренными мизинцами, допив водку, крикнули. Сожалеюще посмотрели на хрумкающего остат-ками огурца Хряка. Нюхнули рукав одинаковых форменных выгоревших добела рубах, начали собираться. Подхватили оранжевые куртки со шпал, побросали инструмент в тележку о двух

колёсах и покатили в сторону станции, не спеша переговариваясь.

Васька сердито посмотрел им вслед, вздохнул и опустил на колени возле друга. Приложил ухо к его губам. Выпрямился, посмотрел вверх, неловко перекрестился:

— Всё отпусти да отпусти. Да кто тебя держит, чёрта нескладного?..

Колька глухо что-то промычал, дрогнул веками, но глаз не открыл.

Васька ещё раз вздохнул, недоверчиво-внима-тельно вглядываясь в товарища. И что нашла? Ну действительно, несуразное существо, на ногах ботинки сорок пятого размера, а коленки, локти и плечи так остры, смотри— материю прорвут. Но руки-то, руки... пальцы изящные, чуткие, сильные, а туловище взять... нескладное, долговязое, чуть скособоченное. Огромный судорожный кадык на жилистой тощей шее. А нос... тонкий, с ноздрями трепетными и чувственными. Лоб скошенный, во-лосёнки за оттопыренными ушами жалко липли к костистому черепу... Всё по частям, всё не в друж-бе. Но вот одна закавыка: стоит поймать взгляд— а по фигуре уж в глаза никто Кольке и не смотрит— и всё! И пропал! И пригос сразу Петрован, и всё на месте, всё по уму: бездонная, всезнающая, мудрая глубина в их синеве, в глубине тёмного зрачка. Но и боль, и мука неразрешимого вопроса бьёт в сердце, в душу поймавшего взгляд Петровановых глаз. Может, потому и нет друзей у Кольки. Род-ственники сторонятся, знакомые обходят. Один Васька-хряк— друг и опора. С самого раннего детства опекает Петрована. По девкам таскал, по праздникам; хулиганства и гулянки— всё вместе. Как телок, протопал Петрован за могутным другом лет двадцать пять, а то и больше. Лишь раз попе-речил Хряку: женился своей волей и любовью на молодой учительнице, учёной городской девушке. Берёзка— нежная, гибкая, ласковая.

Завистливые, понимающие истинный цвет при-роды— ну а как по-другому? деревенская баба должна быть ломовой кобылой,— кумушки на завалинках ехидно судили: «Тю! Незабывьна! Худа: ни кости, ни мяса,— хозяйства нашего не попрётъ...» Но ошиблись досужие языки. Тянет училка и школу— она одна во всех ипостасях, и хозяйство, как и положено по деревенским меркам. И в доме всё по-городскому. Мужики же затюкали своих баб попрёками. Обзавелись те передниками; сапоги, грязная одежда— в коридоре, тапочки у порога, и много другого, раньше ненужного, а те-перь необходимого, привнесла Вера в быт деревни.

А в своё время Васька и невесту другу присмо-трел: пять Петрованов сложить— одна б только и вышла. Эх! Как Васька ломал друга, гнул, а ничего не получилось.

Васька поддёрнул мотню, отвисшую до колен, заложил Колькину руку себе на шею, своей одной

прихватил её, другой за туловище друга она обнял и поволок вниз по тропе, сбегающей вкось по насыпи к травянистому просёлку. Просёлок скользил вдоль железки, а у реки вилял в сосновый бор. Тот, вверху сливаясь с сумраком кронами, понизу белел песчаными откосами, причудливо растопырившимися корнями. В темноте корни больше смахивали на щупальца сказочных страшилищ...

Васька-хряк ничего не замечал—ни веса Кольки, ни грозно сомкнувшихся над головой плотных сосновых крон. Он, чему-то своему плутовато и стеснительно улыбаясь, споро вышагивал по дороге. И Петрован ноги переставлял, не в пример безвольно болтавшейся голове и огрузневшему туловищу, довольно ходко. Хряк иногда отпускал Колькину руку, поддёргивая мотню рабочих штанов. Пузо круто выпирало из-под расстёгнутой застиранной ситцевой рубахи; грудь, мощная, волосатая, тяжело вздымалась от быстрой ходьбы. Васька приостановился. Они уже вышли из соснового бора и начали подниматься на пологий взгорок, выходя к задам деревни, далеко тянувшейся по высокому берегу реки.

Бор клонился всей своей тёмной громадой в излучину речки. И оттуда, клубясь плотной молочной пеленой, расплзалась, растягиваясь по прибрежным кустам, по опушке бора белёсая зыбкая мгла. Волнами, на глазах набирая силу, туман напирал на крутую стену оврага, лез вверх по взгорку, разрастаясь вширь по всему видимому пространству. Сырость, влага от ног к животу, к груди окутала Ваську неприятной холодящей изморозью. Хряк крепче обхватил Кольку, стараясь его теплом приободрить внезапно заолодевшее нутро. Петрованова голова качнулась в сторону бугрившегося из долины тумана и опять упала Ваське на шею. Хряк матюгнулся: — Ух! Страхотища!..

Как застоявшийся жеребец, взбрыкнул ногами и поспешно потащил Кольку вверх, как бы убегая от чего-то неприятного, вдруг хлынувшего на него белёсой промозглой туманной поступью из далёкой низины.

Выбравшись на простор, перевёл дыхание. До околицы было рукой подать—метров двести-триста. Васька повеселел. Потатило теплом, пахнуло навозом, парным молоком, пылью. Опять поддёрнул мотню и почти бегом свернул к задам огородов, промчался мимо фермы, кося взглядом на сыто чавкающих в темноте коров в большом загоне. Иногда слышались тяжёлые вздохи.

— Поздно, поди,—пробурчал он,—припозднились мы чтой-то.

По узкой тропке—Колька месил ногами траву, росой моча штаны до колен,—добежали чуть не в конец деревни.

— Ничё... в баньке обсохнешь. А мне в мокреть лезть ни к чему,—буркнул Васька.

Придерживая Петрована, он подошёл к отдалённой стоящей вросшей покосившейся тёмной постройке. Молодой месяц глазасто пучился с бездонного небосклона, заливая мертвенной синевой притихшие окрестности. Небольшой прудик у баньки, окружённый старыми скрюченными ветлами, застыл зеркальной непроницаемой гладью. Космы веток касались воды, иногда шевелились—вроде и ветра нет,—рябя водяное зеркало серебристым мерцанием.

Васька приостановился, открыл дверь баньки, оглянулся на луну:

— Тыфу, язва! Выставилась!

Пятась задом, загатачил Кольку внутрь. В баньке было тепло, пахло прелым веником, калёным железом, плесневелой водой. На полке—валялся старый ватник. Васька осторожно уложил друга, тот беспомощно мотнул головой, коленки брякнулись о стену. Хряк выправил Кольке положение, прикрыл ватником. Уже выходя, споткнулся о веник, громко шмякнул его в стену, сердито дёрнул носом. Петрован сонно всхлипнул, тяжело, с присвистом, задышал. Васька приостановился, тревожно вглядываясь в белеющее лицо Кольки.

Наверное, банные запахи сбили Петровановы видения на новый лад. Что он видел? Себя сплывшим пятилетним мальчуганом, как его зимой раздевали догола у горячей печки в доме, закутывали в тулуп и тащили в баньку. Обычно это была мамка, иногда тётка, иногда бабка. Мужикам Колька мешал париться. Кольку совали в баню, выпрастывали из тулупа. Сами бабы раздевались в предбаннике. Петрован любил смотреть, как женщины по одной заходят в парилку. Голые фигуры робко протискиваются под низкой притолокой, чуть сжавшись, опустив руки, прикрывая себя тапиками, мочалкой, постирушками. Топчутся, стыдливо поворачиваясь друг к другу спинами. На том Колькино гляденье и заканчивалось. Его мыли, мылили, мыло попадало в глаза, он начинал орать, отбиваться. И вот, отмытый, чистый, сидит в тазу с тёплой водой, поджидая, когда кто-то первый напарится и, подхватив его шубейкой, помчится по снежной тропке домой, а в баньке уже творится что-то сказочное. Вот этого Колька и ждал, и орал он не от мыльной боли. Он боялся пропустить тот момент, когда женщины, вот такие недавно немощные, пристыжённые мамки, тётки, бабки, превратятся в сказочных красавиц. Пугающе шипит, исходя клубами от камени, обжигающий туман, мелькают вишнёвые тугие тела—смех, визг! Оглушительно, стремительно хлещет, смачно шлёпая о крепкие спины, веник; в радужном сиянии веером летят по тёмным углам брызги воды. Ой как Кольке хочется, вот так охая, постанывая, влететь в парилку в клубах морозного пара, в комьях снега на раскрасневшемся теле—и с визгом на полкок... А там уже ждут: шлёп, шлёп...

Петрован натужно замычал, заскрипел зубами. — Кто же я? Богородица!.. Христос... Любовь... Кому это нужно?!.. Кому? Для кого? Как разделить?..

Хряк осуждающе вздохнул, переступил с ноги на ногу, вглядываясь в тёмные углы.

— Что бормочешь? — воровато перекрестился. — Спаси и сохрани, — поправил ватник. — Дрыхни, друганок... Пора уж, наверное, и прописать тебя тут. Нескладыш ты наш...

Пятясь плотным задом — на расшитых штанах виднелся тёмный клин, — вылез из бани. Достал из-под застрехи замок, повесил его, повернул ключ. Потянул, проверил, защёлкнул ли. Прислушался... Тихо. И вдруг, лихо топнув ногой, вприпрыжку помчался вдоль высокого штакетника к аккуратненькому домику в конце улицы. Несколько раз твякнул чей-то пёс. Васька приглушённо рывкнул: — Замолчь, паразит!

Остановился рядом с домиком, в тени огромных тополей, прислонился плечом к дереву, перевёл дух. Прислушался. Деревню укрыло как пологом. Темно... Тихо... Звёзды тысячами мерцающих искорок усыпали небосклон. Полумесяц луны редкими блёклыми мазками высвечивал шиферные крыши домов. Зыбкие отсветы одиноких фонарей пугливо жались под изгородями широкой улицы. Журавль колодца задрался вверх, ведро на цепи затаённо-недвижно висело над срубом. Громады теней изменчиво, незаметно размывали открывшуюся Васькиному взгляду картину в мертвенно-знобкое безмолвие. Стоял минуты три, невольно залюбовавшись необычностью красок. Тревожно передёрнулся, поддёрнул мотню, хмыкнул:

— И чтой-то я такой влюблённый?..

Решительно сплюнул, шагнул к покосившейся задней калитке, резко дёрнул её за ручку, открыл, прошёл росной тропкой, стараясь не трогать высокую картофельную ботву. Всё же замочил брюки. У крылечка нагнулся, хлопнул по штанинам:

— Вот зараза, какая роса.

Ступил на крылечко. Оглянувшись, стукнул костяшками пальцев три раза в косяк двери. Рванул рубашку из штанов, шумно задышал, вытирая тыльной стороной ладони слюнявый рот. Широко шагнул в распахнувшуюся дверь: шагнул по-медвежьи косолапо, чуть присев и растопырив ручищи. — Ох ты, моя лапочка... Заждалася, милая...

Стукнуло об пол, падая, и покатилося, гремя, ведро. Васька раздосадованно матюгнулся:

— Ах, чтой тебя... Ты чтой ж ведра на дороге ставишь? Чуть нос не расквасил.

Хряк пытался облапить встретившую его женщину. Та, слабо отбиваясь, пятилась назад.

— Ну хряк ты, Васька! Самый настоящий боров. Ну погоди же... Где Петрован?

— А где ему быть? — хохотнул Васька. — На обычном месте...

Подхватив женщину на руки, он шагнул в комнату, чуть не запнувшись о порог.

— Уронишь!.. Боров...

— Не уронию, Веруня! Такую кралю! Сам вобьюсь, а тебя ни в жизнь!

— Эх, Васька! Одно у тебя достоинство... обижаться не умеешь.

Васька лихорадочно стянул сапоги; размотав портянки, швырнул их в угол; рубашку, куртку сбросил в другой; путаясь в штанах, рванулся к Вере. Она, насмешливо-презрительно взглядывая на него, стояла у разобранной постели. Чёрная длинная рубашка, белые руки, плечи, лицо наливались отталкивающей синевой, хищный оскал проступал в углах скорбно поджатого рта. Васька метнул на неё короткий взгляд, скрипнул зубами, рванулся, схватил, смял, бросил её на кровать.

Через некоторое время Хряк, сладострастно позёывая во всю масляную, умиротворённую рожу, ворковал:

— Ну Верка! Эх!.. — сладко зажмурился, прикрыл оплывшие глазки. — Да... Такая вот прогонистая вроде, жидкая. Не наша... — опять самодовольно хрюкнул.

Вера, прикрыв глаза, чуть вздрагивая, как бы распрямляясь, лежала рядом. Васька шумно вздохнул, скептически глянул на небольшие груди Веры, на длинные стройные ноги, впалый живот...

Вера открыла глаза:

— Хряк...

Васька сморщил низкий лоб:

— Ну что — Хряк да Хряк? Васька я.

— Не Васька... Хряк!

— Ну за что ты его любишь, невдалого? — Васька сел на постели, сильные плечи обвисли. Зло вздыбилась. — Пропаций человек. И не мужик он, и по хозяйству один недоразумения.

— Хряк! Ты Расскажи, что у вас тогда случилось?

Васька брякнулся на спину, кровать угрожающе скрипнула... Вера поморщилась:

— Ну что случилось? Вась!

Хряк глубокомысленно рассматривал потолок. — Рожа кака-то страшная повиделась... — помолчал. Расстроено вздохнул. — Ну чего случилось? Десять раз рассказано.

— Ещё раз Расскажи.

— Ну... побили нас. Вот... ему меньше попало. Сбежал... Я бока подставлял!

— Но срок-то ему дали?

— Ну а как? Всё правильно. Он жа закопёрщик. Бензин у фермера слил?... Слил! А когда тот бить его начал, он дрыном фермеру башку проломил. Как телка завалил.

Вера прошептала:

— После отсидки он другим совсем стал. Молчит всё время. Смотрит так... как будто всё видит, всё знает...

— Да брось ты. Нам что — плохо? Как вспомню... как первый раз! Ну, ты ломалась! Всю рожу мне расцарапала... Ха-ха-ха! — Васька самодовольно ткнул Веру в бок кулаком. — В наших краях... а может, и в граде, против меня ни одна не устоит. Раз я схотел!.. Всё! Моя! Лучше сама ложись. Раз задорюсь... Па... арву!

Вера прикрыла глаза. Робкая слезинка прочертила влажный след на щеке. Васька растерянно хмыкнул:

— Ну!.. Сопли развела. Всё! Я побёг. Мне ещё и Ньюрку ублажить надо, заподозрить. Всё! Побёг!

Васька, скособочась, слез с кровати и, не обращая внимания на Веру, стал одеваться. Только он напялил на себя брюки, как раздался стук в дверь. Вера стремительно вскочила с постели.

— Ой!.. Кто это?

Хряк метнулся по комнате. Заскочил в сапоги. Опять раздался стук в дверь.

Остановился у двери, обречённо поднял кулак, скрежетнул с отчаянием зубами, рванулся к окну. — Полезу... Кто-кто. Она это...

Вера отщёлкнула шпингалет. Васька, отдуваясь, натужно покраснев, начал протискиваться задом в оконный проём. Уже снизу, из темноты, протянул руки, наверное, за рубахой и курткой. Вера нагнулась, подала их. Что-то сверкнувшее в лунном свете у её головы заставило женщину отпрянуть. На лице Хряка испуг сменился недоумением, голова стала запрокидываться. Он виновато

посмотрел на Веру, и прежде, чем свет разума погас в выпученных глазах, облегчением и радостью озарили они уже мёртвое лицо. Пальцы на миг зажали подоконник, вырвав кусок дерева, он кинул руки к ней, но силы в них уже не было, пальцы растопырились, посыпалась с них труха, руки упали вниз, потянули и тело, Васька боком сполз в темноту, прошептал:

— Вот и полетели, друганок, никто нас не удержит теперь...

Вера закричала:

— Коля!.. Вася! Милые!.. Что ж вы наделали?..

...Петрован посмотрел себе под ноги, осторожно отступил, вздохнул, прислонил лопату к завалинке: — Вещдок...

Долго из темноты снизу молча вглядывался в Веру, прикрывшуюся Васькиным бельём.

— Живи, Веруня, и нас помни, — устало выдохнул. — Бензин слил я, а дрыном... вместе бежали... Эх, Васька! Эх, друган!.. — тряхнул головой. — Звони в милицию, я в баню, — повернулся и зашагал через огород, ломая картофельную ботву тяжёлыми сапогами.

С заплота сорвал верёвку, сделал петельку, подёргал узел, кося взглядом на задумчивую, притихшую луну, просунул другой конец верёвки в малую петлю, надел большую петлю на шею. Пригнувшись, шагнул в баню. Стал на лавку. Шаря руками по перетяжинам, удовлетворённо проговорил: — Вот и добежали...